

После нас

Пыль копилась, и жизнь копилась, в ней копилось нажитое, пережитое, и всего прижитого и прожитого было жаль. Пережитое безвозвратное, а нажитое в шкаф. Что же, выбросить эту тумбочку? Ведь она со мной жизнь прошла... Что же, что она колченогая? А я сам? В голове же так тесно от прошлого, что буквально места нет на сейчас.

В закоулочках, в переулочках, в этих всех черешневых двориках памяти домино, запорожец старенький, почта, горка, качели, аптека, детская поликлиника... десять

школьных лет, десять юности, лица, лица... обиды, горе и радости, переполнено в клетках прожитого...

«Где же только что я квитанцию эту чертову положил?..»

Как сейчас калитка дачная помнится, да не вспомнится, где идешь. В нижнем ящике – пригодится, в среднем – необходимое, в антресолях – для внуков, в коридоре общем – велосипед, и еще один, и еще... а в шкафах сколько этой беспомощной памяти, что, боимся, забудется в голове!

«Эта кофточка твоя, Мунечка?.. Посмотри». – «Этот чепчик Ваня носил...»

Эти лыжи, ботинки лыжные... На шнурки, в узелки завязано счастье, и бывает, никто не видит, пока человек и куртку папину поцелует.

Это ручка от вазочки, черепок от разбитой чашки, крупа: вдруг потом не будет опять в магазинах? Вдруг потом ничего не будет, товарищи... Может, в нижнем ящике сохранится?

Обходите на всякий случай балконы сограждан, граждане! Потому что не только под богом ходим мы – под своим. Антресолей остерегайтесь.

Ни пройти ни проехать, Господи, на земле. Вроде места много, а тесно.

Так, у нас, на улице Героев Народного Ополчения, вышел случай – конфликт между поколениями, закончившийся странным исчезновением одного квартиранта. Исчезают, товарищи, что поделаешь? Старики...

Встал дед насмерть за старый шкаф, говорит: «Не дам», а они ему: «Это не шкаф, а гроб, посмотри!» А он: «Вот в нем и похороните». – «Смерти ждать твоей?» – «Подождите». – «Легче с ним тебя вынести!» – «Выносите».

Значит, думал, не вынесут. Джека Лондона не читал. Старики, они, конечно, тоже хранятся в памяти, где мы дети. Вам там бабушка жарит оладушки, варит компот,

вечер летний, калитка, печеные яблоки, три рубля тихонечко на мороженое, вам там дедушка про войну... Но у нас, к сожалению, за квадратные метры жизни цены теперь такие, что им скажешь – они перекрестятся, думают, с ними крестная сила.

Жить всем хочется, только тесно. Говорят и написано даже в транспорте: «Уступайте место ветеранам, пенсионерам...» Это верно, чувствуешь, уступив, что хорошее что-то сделал, даже стыдно становится. Но! Не в жизни же им уступать?! Жизнь дана всем в отрезке временном, временно, их отрезок кончается, ныне наш. Нет, закон продолжения справедлив и не нами писан, гласит: «Умирай, пока еще нужен».

В общем, дедушка их не хотел расставаться со шкафом своим ни в какую. И вели переговоры они, и грозили домом отходным, и просили, и умоляли... И даже как-то раз согласился вроде бы он, показали когда ему буклеты новых шкафов, сказал, что красиво, но на утро-то все забыл – и опять ни в какую. Сел под шкафом этим на стул, сел в медальях, при параде полным, и хуже, что с наградным, на колени в кобуре положил и, пока на работу они не уйдут, так сидел в прихожей. Сядет и сидит. И вернутся они с работы, выходит из комнаты из своей и опять на стул возле этого шкафа.

Наконец заказали все-таки новый шкаф. Так решили: как привезут, что он сделает? Даже думали пока запереть его в комнате, чтоб он не бузил. Заказали вместе со шкафом и новые стулья. Запирать не стали все же, подумали: обойдется. И действительно обошлось. Как-то дедушка попричих, как увидел чужих, а потом про него забыли.

Старый шкаф обвязали веревками, денег дали грузчикам, чтобы вынесли, у контейнеров ставят такие «гробы из прошлого» мусорных, чтобы их потом увезли, новый шкаф поставили, подмели. Смотрят, деда в квартире нет.

Нету деда. Забили тревогу, стали искать... Может, вышел в аптеку, может, за хлебом, на бульвар на лавочке посидеть?.. Посмотрели одежду – вся на месте она, пиджака только нет. Нет и тапочек, а зима на улице, холодрыга. Обежали места, закоулки Героев Народного Ополчения, дворики. Нет. Сам придет, решили, а он не идет. Ничего с собой не взял, и ключи лежат на трюмо, телефон его новенький, что на девяностолетие подарили. И под вечер дед не вернулся. Обзвонили с утра больницы, позвонили в полицию. Объявили дедушку в розыск. Развесили по Героям на всех столбах его фотографию с объявлением: «ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА!» Но бывает трудно найти его среди нас, и деда этого не нашли.

Город наш не какое-то захолустье – столица! Улицы мостят плитками, моют мылами и шампунями. На газонах цветы цветут, клумбы, вывески, магазины... Жизнь кипит! Жизнь становится лучше и лучше, и с каждым днем человек человечнее человеку. Всем известна святая истина, испокон пещерного проживания: «Нас не портит, а нами делает квартирный вопрос». А в гробу и в шкафу не тесно.

Ранним утром тихо под нашими окнами останавливаются машины мусоросборные, не будить стараются, тихо хлопают крышки контейнеров, все, что нажито непосильным трудом и отжито, умещается в них.

Уезжают они в неведомом направлении, после них на улицах чисто.

Везучий

«Хуже уже не будет», – без сомнения утверждение оптимиста. Впрочем, утвержденье «Бывает и хуже» также, без сомнения, его утверждение. В то время как человек

думающий, наблюдательный, умеющий делать из наблюденного выводы, смотреть правде в глаза, человек осмысленный, «хомо разумус» сделает из всего выше приведенного более логичные выводы: «Хуже будет», «Будет и еще хуже».

«Сдохнуть бы сейчас, Господи!» – с такой мыслью обыкновенно обращается к Создателю человек, желающий что-нибудь изменить в своей жизни к лучшему.

Человек не может не желать себе лучшего, чтобы лучше было хоть как-то, чуть-чуть, лучше было хотя бы в сравнении с остальными. И он думает: «Господи! Сделай так, чтобы мой автобус пришел, а не тридцать девятый». Человек не может не думать, даже думая, что он не думает ни о чем, он думает о том, что он ни о чем не думает.

Даже кот и тот перед тем, как перейти улицу, думает! Он осмысливает грозящее ему в связи с этим. Оценивает свои шансы. Кот переходит улицу вовсе не просто так, у него есть непременно какая-то цель, цель, порожденная мыслью. Мысль о пропитании, любопытство, просто оздоровительная прогулка по городу могут служить коту мысленным пинком, чтобы перебежать улицу на ту сторону. Кот осмысливает пейзаж, порождая этим осмыслением цель, без цели нет ни кота, ни смысла.

«Зачем я живу? Ведь в этом же смысла нет?!» – думает человек и, думая так, продолжает жить с пониманием, что жизнь хотя и осмыслена им, но бессмысленна.

В этом смысле, разумеется, лучше коту: он не думает, зачем он живет, а он думает, как ему выжить. Хотя, по правде сказать, думая про смысл и его отсутствие, человек, конечно, халтурит с самим собой, втихаря занимаясь тем же, что кот, потому что выжить стараются равно все, даже те, кто уверен, что это совсем не имеет смысла.

Но к герою нашему! К Валентин Петровичу Невезучему! Рассказать о жизни его, ибо каждая жизнь, товарищи,

хоть и не имеет смысла она, хоть к тому же еще и конечна, а все-таки достойна романа, или хотя бы повести, или заметки в газете, или стихотворения, или... хотя бы надписи на могильной плите.

Во всех государственных учреждениях, бухгалтериях, поликлиниках, канцеляриях, жандармериях Валентину Петровичу Невезучему сопутствовали неудачи. Неудачи сопутствовали ему и за дверьми вышеназванных. Он дергал дверь на себя, а она открывалась «от». Он «от» – она «на». Он голосовал за, но все было против. Он был против, но все было за.

Он гадал на ромашке в «любит – не любит» – выходило «не», он считал справа и слева автобусного билетика, и, хотя съел их примерно столько же, сколько съел их каждый из нас, доверчивый, ему ни разу не повезло с исполнением. Он наедался пятилепестковых цветочков сирени и четырехлепестковых цветочков клевера, но даже это не помогало.

Неудачи и невезения преследовали и настигали Валентина Петровича прямо на улицах, они весело подмигивали ему красными светофорами, фарами отходящих маршрутов. Они дули Валентин Петровичу в физиономию, сдирали с головы его капюшон и при этом душили шарфом, поплеывая мерзким ноябрьским крошевом равно в ту и в эту сторону улицы.

Неудачи сопутствовали ему повсюду. Невезение преданно сопровождало Валентина Петровича до работы и встречало с работы, его нельзя было оставить в гардеробе под лестницей или в прихожем шкафу в карманах пальто. На парковке ему почти никогда не доставалось удачного места («Ну вот! – скажете вы. – У этого, как его там, все же была машина!» Да, но, однако, это ваше «как его там» – унижительно человеку!). Так вот, если Валентину Петровичу все-таки удавалось припарковаться удачно,

удача кончалась тем, что потом было невозможно вырвать с удачного места.

Еще в детском саду всегда чаще давали Валентину Петровичу на полдник мерзкие вафли с кефиром, чем печенья с компотом, в школе меню оставалось прежним, прежним оно осталось и на работе. И до сих пор. Работа была неудачная. Жизнь была невезучая.

В неделе было больше будней, чем выходных. Это тоже не назовешь удачей Валентина Петровича. Его любимая футбольная команда «Динамо» всегда оправдывала свое название. В детстве у него никогда не было двустороннего пенала с изображением Микки Мауса. У Валентина Петровича никогда не было лошади, а он мечтал о лошади с самого детства! И даже просто лошади-качалки никогда не было у него, а наклейки и магнитики на двери его холодильника, служившие этой украшением, молчаливо свидетельствовали о том, что такую неудачную, невезучую жизнь невозможно исправить даже наклейками и магнитиками.

Валентин Петрович купил очень неудачно эту машину (так что не позавидуешь), и квартира его была в очень неудачном месте, далеко от метро, и очень неудачно было добираться до дачи. Поездки к морю на отдых также складывались неудачно, купе доставалось тринадцатое или рядом с уборными, соседи в ту и в эту сторону неудачные, даже раки на полустанках доставались ему все какие-то мелкие, пиво теплое, проводница – стерва.

У него была очень неудачная теща, женщина происхождения вулканического, сплава сталобетонного, считавшая его неудачником, и супруга его, Галина Семеновна, была того же титанического сплава-происхождения и считала его неудачником точно так же, как ее мать. Дети были, но очень неудачно рожденные: оба мальчики, а он всегда хотел девочку. Но судьбе, как любой себе на уме балованной женщине, было, видимо, на это чихать.

Словом, как на двери иной раз бывает написано: «Выхода нет», так и на нашем Валентине Петровиче, то есть у него в паспорте и во всех прочих удостоверениях его личности, было написано и заверено печатью и подписью: «Валентин Петрович Невезучий».

Но судьба, как говорится, не бывает «сплошной извилистой». Некоторым достаются в ней и вовсе не пешеходные полосы, а радуги. У дорог бывают переходы подземные и наземные на счастливую, может быть, сторону и такие же счастливые повороты, и однажды Валентину Петровичу наконец повезло: он очень удачно успел на маршрутку, которая очень удачно покончила с этой и без того затянувшейся неудавшейся жизненной повестью, рухнув с моста.

«Невезучий», – было отчеканено на могильной плите его, но время со временем стерло чекань с позолотой с первых двух букв, опровергнув все его неудачи.

Черепашу в рай не берут, или Гимн бессмертному Оливье

Мы же вышли вчера из подъезда и видим: вырос, ровно как в сказке, за ночь одну, перед нами город из стекла и бетона, дьявольский и бездонный, с небоскребами, асфальтовыми полноводными реками и мостами, головокружительными развязками и туннелями, остановки же «Детский мир» нашей больше нет. Магазины «Юность» нет на той стороне, нет и игровых автоматов. Вот стоим теперь, бессильны понять, как мы здесь очутились?

Коля Здешиков торопился.

«Черепашу в рай не берут, – говорил Коле папа. – Вставай, Коленька, опоздаешь! Одевайся, Коленька! Торопись!»

Всякий раз ему было совестно не успеть. Всякий раз такая наступала в нем паника, если он не мог найти ложечку для сапог. Время коротко, Коля Здешиков ненавидел шнурки. Ибо каждый стежок шнурка есть добавочная петля на отрезке времени. Даже ставил часы вперед – получить хоть сомнительную отсрочку. Ведь, в конце концов, в этом мире все относительно, все сомнительно в этом мире.

Он не шел, как вы, стараясь сохранить независимость, вдоль открывшего двери поезда по подземной платформе, но бросался в открытые двери, как на амбразуру, и в вагоне, толпой попутчиков сдавленный, чувствовал облегчение, что успел...

Но однажды, наискосок сокращая путь по Введенскому кладбищу, где являет жизнь несомненную спешке альтернативу, пробежав вдоль открытого колумбария, от лефортовского надгробия до надгробия от надгробия за надгробием, Коля Здешников неожиданно оборвал свой путь возле памятника человеку бессмертному, вроде Александра Сергеича, новогодними буднями увековеченному, знаменитому повару Оливье. И предстала Коле череда лет, отмеченных этим салатом.

«Странный праздник», – внезапно подумал он, холодея от страшной догадки. С тем пришло к нему понимание, к какой цели и зачем его торопили.

Таким образом в некрополь лефортовский, дабы сократить путь, вошел один человек, а вышел другой. Да и вышел-то не совсем. Совершенно иной человек стоял перед светофором на площади, благодарно глядя на красный. Постояв у красного, переждав еще одного зеленого, он не ринулся, как все мы, вслед всем, развернулся,

пошел обратно... Вот идут они, обреченные, тротуарными тропами, толпами, обгоняют, отпихивают друг друга, тянут шеи, на цыпы встают, чтоб увидеть, не брезжит ли там... надежда.

У могилы француза бессмертного сел наш Коля на лавочку. И затих.

Мимо плыли облачные громады неба столичного, обгоняли друг друга звери небесные вдоль старинных стен, саркофагов и усыпальниц, над течением речки Синички, над участниками былинных дней от Петра Великого, мимо Васнецова и Пришвина до Абдулова... Создавая немолчный гам, вдоль высоких стен ограждения мчались, встав на светофоре, гудели истошно автомобили. Прыг-прыг, прыг-скок – проскакал мимо Коли воробушек, пролетел, кувыркаясь, осенний листик. Был он мертв, опалово-ал, а, однако же, торопился... Коля – сидел. Время шло, но шло оно... мимо.

Встань и иди

А на море, только солнце забрезжит, гладь такая небесная, крабы ползают, море теплое... Хорошо...

Глубоко за полночь, незадолго до рассвета холодного с незнакомым голосом в голове проснулся в собственном теле некий Лев Борисович Птичкин.

«Встань и иди...» – эхом затихая вдали, продолжал повторять вселившийся голос.

Лев Борисович вяло пошевелился, и, ощутив коленями свинцовую тяжесть свернувшегося кота, оттиснул с себя мохнатого, и прислушался. Голос стих. Кот оттиснутый смотрел из-за валика на хозяина глазами, желто горящими, отстраненно и равнодушно. Лунные отсветы постепенно обрисовали во тьме Льву Борисовичу очертанья

реальности, проступили плотности подоконника, шкафа, письменного стола, в коих ничему потустороннему, из мерцательной галлюциногенной области, свойственной пограничному состоянию, не было места. Лев Борисович успокоился, смежил глаза, и лишь только смутные желанья грядущего улеглись, угроза настоящего растворилась, а мысли стали приобретать очертанья размытого пережитого, незнакомый голос вернулся вновь.

«Встань и иди!» – раздалось в голове настолько пронзительно, повелительно, что, открыв глаза в ужасе, Птичкин долго сравнивал голос этот с ненавистным звоном будильника, опасаясь уже вставать.

Господи! Как же противен нам этот призывающий к действию звук. Отвратителен каждое твое утро! И как же благодарны мы будем ему... на том свете.

Голос, призывавший Льва Борисовича к непонятным действиям среди ночи, слава богу, не имел никакого сходства с будильником. Из бурильной же установки будильника следовало, что спать Льву Борисовичу можно дальше хоть целую вечность.

Кот, мурча, взгромоздился на колени опять, жмурился, грел тяжелым брюхом, лежал, кирпича наподобие, не давая Птичкину шевельнуться. Кот, известно, сила нечистая, потому всегда умывается, сила кот потусторонняя, тьму прозревая. Птичкин даже читал в каких-то статьях, что коты во сне душат весом своим стариков и младенцев.

«Сгинь!» – велел он коту, но кот мурчал и точил мохнатые лапы в пододеяльник.

И Птичкину было слышно в темной ночи, как – цык-цык, цык-чмок – вонзаются в ткань с цветочками его когти. Второй раз, с трудом колени согнув, Лев Борисович образовал из них вершину пододеяльную, с чем животное возвысилось над хозяином неподвижной мурчащей глыбой. Птич-

кин наклонил синхронно колени свои, кот пал, свернулся где-то под сердцем и опять смотрел на Птичкина желтым глазом. Ощущение было противное, точно кот караулит... точно только того и ждет, когда Птичкин уснет...

«Да и вот фамилия моя какая-то относительно него беззащитная...» – но, однако, мысль эту Лев Борисович не додумал.

«Да и нет у меня кота...» – но и эту мысль не додумал он.

Стало тихо. Ночь была зимняя, лунная, колдовская. Звезды острыми морозными стразами по узорам роз из чистого оконного хрустала рассыпал Господь в царстве вечном. Лев Борисович успокоился, на подушке помягче устроился, подтянул одеяло повыше, выдернув угол из-под кота, и закрыл глаза снова.

«Встань и иди!» – заорал на Птичкина голос, да так, что несчастный не выдержал и, отбросив одеяла укрытие, ошалело моргая, вскочил.

Он стоял, озираясь глазами безумными, посередь черной комнаты в темноте. Голос стих, и куда звал он Птичкина, пусть останется неизвестным. Однако, немислимыми усилиями преодолевая сна притяжение, в полной тьме пробирался Лев Борисович Птичкин от ложа покойного к письменному столу. Среди ночи вспыхнула настольная лампа...

Написав, почувствовал Птичкин облегчение необычайное, легкость, точно только что высказал нечто самое главное, совершил открытие невероятное, точно только для этого открытия он и жил. С чем вернулся в постель. Через шесть минут Птичкин спал, через семь минут Птичкин умер.

Хоронили его согласно с написанным, по единственной просьбе покойного, своим содержанием в самом деле поразительным образом отличавшейся от иных. Лев Борисович завещал:

«Без будильника не хороните!»

Стена

Если ваши нарисованные иллюзии способны согреть в холодной пустоте, а язычки их пламени пляшут в ваших зрачках, значит, это ваша реальность. Только это самая последняя инстанция. Отнять ее – значит лишить жизни.

Булбул Асаева

Все, товарищи, портится. Ладно, меняется. К худшему. Годы берут свое. То есть наше. В холодильнике даже портится, правда, медленней. Только что была Тасечка, а уже Татьяна Андреевна, а потом глядишь – померла. То ли это так у нас делают теперь холодильники, то ли это жизни закон.

Постепенно портилось зрение Подорожкина. В детских классах видел от нижней черточки, по указочке выше, выше... а теперь вот не видел стола. Расплывается, забывается, сами знаете, как бывает со зрением, – жизнь.

Подорожкин который год не видел жены своей, Таси, и, нужно сказать, слава богу, что и не видел, потому что, во-первых, время очень уж к худшему меняет не только вкус картошки с пельменями, но и, так сказать, времена.

Жизнь же портится, по наблюдениям нашим, согласно состоянью телесному и когда еще, параллельно прочему, происходит угасанье надежд. А они ведь тоже не вечные фонари. Вот она еще ясная, близкая, вся возможная, вся весенняя и того гляди завтра сбудется, подойдет. Превратится в женщину из мечты. Но дороги такие дальние, расстоянья неблизкие, и уходят от нас надежды, даже последние, кругом стрелочек к молодым. Нищей бабушкой от храма Господнего по ковру осеннему в пиво-водочный магазин.

Это к слову.

А наш Подорожник, хотя и не видя жены своей, с нею дальше жил с привычным за жизнь смирением, как из тех человеческих обязанностей, что взял на руки – донеси. Кто-то бросит, а кто-то нет. И хотя для всех кем-то сказано, что до гроба, но не к этому же брались. То есть к этому, но спасает надежда.

У него жена и раньше не очень-то вкусно готовила, а вернее сказать, «кастрюля с веником для других», а жена Подорожника была воздушная женщина, невестомая, с притяжением, но без притяженья земли. И она писала стихи, пела лучше всякой Пугачевой-Дорониной про вагончик на Тихорецкую и опять писала стихи. А таким всегда не хватает в воздухе воздуха, в отношениях – высокого, в четырех стенах они – птицы. И она ходила на вечера эти все у них литературные, музыкальные, и не то чтобы были поклонники, но поклонники были. Иногда совсем уходила. А когда одна в квартире была, включает во всех комнатах свет, говорит, что ей страшно одной. Очень страшно одной, это правда. Подорожник, возвращаясь с работы, посмотрит снизу, увидит, что свет горит, – и, значит, вернулась. Готовил он сам и сам мыл полы, по которым она ходила. И ее следы на земле были лехше следов от кошки. А теперь, когда Подорожник больше не видел ее, и не видел следов ее, и не видел стола, то невиденье, как неведение, не сменило его привычки.

Жизнь прошла. Но как заметить конечность ее было нашему Подорожнику? Хлеб кормил его, чай поил. Все предметы квартирные, жизнью размытые, вдоль по улице и в метро принимали знакомые очертания, если он доставал из чехольчика офтальмологом выписанные очки. И, конечно, доктор после обследования советовал операцию.

«Это же элементарная операция!» – говорил.

Подорожник не соглашался. И хотя офтальмолог грозил ему полной потерей зрения («Глаукома, – го-

ворил, – катаракта, раньше слепли такие, как вы, а теперь...»), Подорожкин все равно сказал: «Лучше выпишите очки». Да и те надевал от случая – рассмотреть в метро пересадку.

Жил по-прежнему, то готовил, что раньше знал, экономил на электричестве, жил в темноте, потому что пенсии у нас, сами знаете, «доживай», а ему с его зрением все равно, в магазин ходил, подметал, мыл полы. На одном только не экономил он: свет, из квартиры уходя, не гасил. Возвращаясь же с Тихорецкого, проходя под домашними окнами, доставал чехол, надевал очки и смотрел.

Свет горел. И она была дома.